

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 7

Пролог 13

1

ФРАГЕН

פראגן

ВОПРОСЫ 19

2

ФЕРЦВАЙФЛЮНГ

פארצווייפלונג

ОТЧАЯНИЕ 63

3

ХАНДЛУНГ

האנדלונג

ДЕЙСТВИЕ 117

4

ВОРЦЛЕН

ווארצלען

КОРНИ 163

5	
РЕЙЗЕ	
רייזע	
ПУТЕШЕСТВИЕ	229

6	
АНТДЕКУНГ	
אנטדעקונג	
ОТКРЫТИЕ	305

7	
ИБЭРБЭТН	
איבערבעטן	
ПРИМИРЕНИЕ	345

Эпилог	383
Благодарности	389
Об авторе	393

ОТ АВТОРА

Никто не мог предположить, что история побега из закрытой хасидской общины найдет столько читателей. Я уж точно не могла. В 2009 году, разослав рукопись, я получила множество вежливых отказов, в которых повторялась одна и та же мысль: эта история слишком локальная, интересная только местным, в лучшем случае подходящая в качестве основы для небольшой статьи в областной газете или журнале. Позднее, когда на книгу уже нашелся издатель, меня предупреждали: не стоит питать слишком уж больших надежд. Естественно, что моментальный и ошеломляющий успех книги «Неортодоксальная: Скандальное отречение от моих хасидских корней» (подзаголовок — это хитрый ход маркетингового отдела, призванный увеличить наши шансы) застал всех врасплох. Люди вокруг неожиданно допустили мысль, что моя история настолько же американская, как и истории сбежавших мормонов и меннонитов*, которыми полны мемуары нашей эпохи, как и истории взбунтовавшихся подростков-амишей, попавшие в реалити-шоу. Редакторы, журналисты, агенты — все они задавались вопросом, не является ли побег из религиозной

* Меннонитство — одно из протестантских учений. — Прим. пер.

секты в поисках свободы и счастья исконно американской чертой.

Конечно же, в издательстве хотели воспользоваться успехом «Неортодоксальной»*, которая обрывалась на моменте моего отъезда вовсе не потому, что я хотела лишить читателей удовольствия узнать, что же было дальше. Просто история была написана слишком рано, вскоре после событий книги, и я еще сама не представляла, каким будет следующий этап. Мне предложили контракт на еще одну краткую автобиографию и посоветовали совершить путешествие по стране и рассказать о том, каково это: стать наконец американкой. В нашем разговоре прозвучала фраза «секс, наркотики и рок-н-ролл», как будто иначе, чем предавшись гедонизму, почитаемому в моей семье и общине смертным грехом, стать американкой нельзя. Однако больше всего на свете я хотела иметь возможность продолжать писать, стать писательницей, а потому, несмотря на переполнявшее меня беспокойство, намеревалась приложить все усилия и воплотить эту идею в жизнь.

Но вскоре стало ясно: мне не стать американкой. Я росла в мире, напоминавшем европейский *штетл*** XVII века, где говорила на другом языке, впитывала другую культуру и подчинялась религиозным, а не гражданским законам. И пускай побег и правда укоренился в американской культуре, произошло это потому, что американская культура создает и защищает миры, из которых нужно бежать. Естественно, для меня Соединенные Штаты не могли стать

* Книга вышла на русском языке: Неортодоксальная: Скандальное отречение от моих хасидских корней — М.: Колибри, 2020.

** Городок (*идиш*). — Прим. пер.

страной, которую я знала и которой доверяла, — а потому не могли они стать для меня и домом.

Рукопись, которую я отдала в издательство, наполовину состояла из заметок исследователя недружелюбной территории, а наполовину — из долгожданных открытий корней моих предков за рубежом. Меня будто разрывало между двумя личностями: той, кого все ожидали увидеть, и той, к которой меня тянуло как магнитом. О ней мне и хотелось писать, но, как мне сказали, тогда история становилась слишком европейской. «Американцы хотят читать о самих себе, — настаивал мой редактор. — Ты же воплощенная американская мечта, вот и пиши об этом!» В результате, несмотря на всеобщее неодобрение, я переехала в Европу и оказалась на континенте с богатейшим устным литературным наследием. Казалось, раз моя история «не такая», а личность «американки» я в себе так и не открыла, то и писать о своем путешествии не должна. И я переключилась на новый язык, куда более похожий на мой родной, и начала перенимать новую — и в то же время такую старую — культуру с куда большей легкостью, чем могла вообразить. Я начала писать о своем опыте в Европе для европейцев.

Сейчас, спустя годы, после мирового успеха сериала «Неортодоксальная» от Netflix, вдохновившего перевод моей книги на бесчисленные иностранные языки, универсальность этой истории можно считать доказанной. Несмотря на географические рамки моего уже не религиозного, но все же исхода, ее аудитория, вопреки опасениям, гораздо шире, чем жители отдельного района или страны. Сокровищница наших историй все больше и больше становится общим ресурсом, не ограниченным культурой, идентичностью или языком. Именно благодаря

этой трансформации я могу предложить вам полностью осознанную историю, к которой возвращаюсь спустя некоторое время. И пускай на моем жизненном пути с момента расставания с хасидской общиной было немало неожиданных поворотов, что-то подсказывает мне: и эта история будет понятна любому.

И С Х О Д

еще раз о нем

ПРОЛОГ

В общине сатмарских хасидов в Вильямсбурге, где я выросла, детей обучали библейским заветам эпохи Первого Храма — периода, когда диаспора еще не возникла, а у еврейского народа появилось чувство дома и порожденного им собственного достоинства. В изменившихся обстоятельствах эти законы стали абстракциями, но, пускай возможность их применить и выпадала редко, оставались частью великого наследия, призванного служить утешением в нашем временном — как предполагалось — изгнании.

Исключением из этих законов стал сад моей бабушки — последний, возможно, участок земли в Вильямсбурге, не закатанный в цемент. Мой дед относился к нему как к собственному клочку Святой земли, следуя на этом зеленом островке сложным правилам сельского хозяйства, будто это был его собственный огород, а не персональное убежище Баби, уголок прекрасного, куда она сбегала в поисках спокойствия. Дедушка настаивал: абсолютно все в нашей жизни должно подчиняться законам религии, и сад не исключение. Возможно, в этой неумолимой дисциплине он находил утешение после хаоса, пережитого в годы войны. Однако бабушка моя, тоже прошедшая холокост, в основном верна была законам природы. Не исключено, что все конфликты, сопровождавшие их

супружескую жизнь, — и тот конфликт, который так рано встревожил мой собственный дух, — происходили из этого противостояния. В данном случае победа осталась за дедушкой, сад, за которым годами с любовью ухаживала бабушка, был подчинен библейским заветам. Строгое следование этим древним правилам привело наш крошечный рай к гибели. С ним мы в каком-то смысле потеряли и бабушку — такой, какой я ее знала и любила. Я осознаю это только много лет спустя, столкнувшись с тем, что ее больше не будет рядом. То была потеря физического тела, но эмоционально и духовно я потеряла ее давно, по мере того как возраст разрушал и стирал ее личность, унося все дальше и дальше от меня в мир, где она всегда тайно обитала.

А в том мире, где росла я, не было ни отдыха, ни укрытия от вездесущих сетей религии. Даже тогда я воображала, будто понимаю Бога лучше, чем те, кто старше и мудрее; мне казалось, между ними и Им — трагическое непонимание. Таково высокомерие ребенка, не испытавшего ни унижения, ни страданий. Эти люди пережили апокалипсис и вызвали к жизни нового Бога, воплощение неконтролируемой ярости. Именно поэтому в моей общине не позволяли себе поблажек и снисхождений, которые когда-то украшали нашу веру, как вышитый узор — простую ткань. О нет, мы должны были как можно плотнее завернуться в эту девственную ткань, надеясь, что узость взглядов и убеждений поможет восстановить то и дело ускользавшее ощущение безопасности. Чем огромнее казался мир вокруг, тем дальше они отступали.

С возрастом и мне предстояло надеть оковы ограничений, как того требовали правила нашего маленького

штетла, но некая сила во мне смогла выцарапать достаточно личного пространства, чтобы мыслить независимо. Потом я вышла в большой мир, чтобы найти настоящее место своим идеям — и никогда уже не вернуться. Решившись на это, я старательно пыталась сбросить навязанную личину, которую носила, как раковину, все эти годы — в надежде, что из-под нее покажется мое истинное «я», как пробивается из свежевспаханной почвы молодой росток.

Вскоре выяснилось: оба моих «я» — то, которое я считала истинным, и то, которое казалось навязанным, — плотно переплелись корнями, буквально вырванными из земли благодаря моему побегу. Ушло немало времени, чтобы понять: попытки разорвать это хитросплетение и освободить истинное «я» приносят больше вреда, чем пользы. Я оказалась по другую сторону всегда ограничивавшего меня барьера, я чувствовала — где-то там, впереди мое будущее и оно ждет. Но никакого представления о том, как и куда идти через бездну, разделяющую эти две точки — былое и грядущее, у меня не было. Был только нравственный компас, настроенный бабушкой, чей дух, казалось, воплотился во мне и теперь с точностью намагниченной стрелки, дрожа, указывал строго на север. Он стал силой, благодаря которой я поняла: чтобы достичь нового берега, укрытого завесой тумана, надо не отказаться от своего прошлого, а, наоборот, потянуть его за собой, связав прочной нитью с будущим. Для этого нужно внимательно осмотреть ткань моей жизни и найти, где она еще достаточно прочна и выдержит штокку. Я хотела стянуть края этой пропасти, как края зияющей раны, примирить силы, которые лишь казались противодействующими, но на самом деле все

это время служили взаимодополняющими частями единого целого.

Сейчас, когда прошло больше десяти лет с моего ухода из хасидской общины, два моих «я», сформировавшиеся параллельно и никогда не пересекавшиеся, наконец получили возможность соединиться. С этим воссоединением пришло первое осознание целостности себя в новом и одновременно старом мире. В моей памяти хранятся образы прошлого — не только недавнего, но и того, которое лежит глубже и отстоит от нас дальше. Именно поэтому я способна воспринимать будущее как нечто безграничное и не поддающееся объяснению, то, что в руках у нас, а не у вспыльчивого эгоистичного бога.

В период времени, описанный в этой книге, я была в некотором роде беженкой. Увы, многие из тех, кого я знала и кто выбрал тот же путь, за прошедшие годы покончили с жизнью. Как знать, что происходит, когда открываешь дверь и находишь за ней только пустоту? И речь сейчас не только о том, что происходит с нами, но и о том, каково каждому, кто отправляется в путешествие без обратного билета. Я постоянно задавала себе этот вопрос последние несколько лет. Удастся ли нам прийти в пункт назначения? Каждое новое известие о самоубийстве кого-то из знакомых отрывало еще кусок от моей надежды. Все они для себя ответили на этот вопрос — и выбрали решающий шаг в ничто. Я спрашивала себя, почему до сих пор не повторила их путь. Потом поняла: все это время я уже ощущала под ногами твердую почву. Я думала, что, оставив общину, потеряла единственный источник любви и красоты в жизни: бабушку. И все же именно ее путь подсказал мне, что двигаться

надо обратно, а ее любовь к гармонии оказалась способом соединить разрозненные части своего «я». Меня как магнитом тянуло в Европу, на землю, которую моя община считала «выжженной», и сейчас я, вопреки всему, больше не убегая и не бегу — я возвращаюсь.

Берлин, 2020 год

1

ФРАГЕН

פראגן

ВОПРОСЫ

— Баби, а я точно на сто процентов еврейка?

Мне восемь лет, и я впервые решилась вслух задать вопрос, который столько времени прокручивала в голове. Мои мысли полны сомнений, а не веры, и я боюсь обнаружить некую зловещую причину тому. Наш образ жизни дается мне нелегко — но ведь так быть не должно. Никто больше, кажется, не испытывает подобных сложностей, и я задаюсь вопросом: вдруг эту аномалию можно объяснить нечистокровностью? Полагаю, все, что натворила моя мать, бросает на меня тень, но, раз так, и на нее мог бросить тень некий загадочный и забытый предок из прошлого. Это объяснило бы, почему я такая.

— Баби, а я точно на сто процентов еврейка? — спрашиваю я, потому что верю: от ответа зависит моя судьба. Потому что хочу знать, есть ли у меня шанс стать такой, как все.

— Какой глупый вопрос! — восклицает она. — Конечно, ты еврейка. Все в нашей общине — евреи.

От моих страхов она отмахивается со смехом. Но откуда такая уверенность?

— Посмотри на наш мир, — говорит Баби. — Посмотри, как уединенно мы живем. Мы жили так всегда. Евреи не смешиваются с чужаками, а чужаки — с нами. Так как ты можешь быть еврейкой меньше чем на сто процентов?

В тот момент мне не пришло в голову спросить, почему я вижу вокруг столько людей со светлыми глазами, кожей, волосами. У бабушкиных детей волосы тоже были светлыми, и она рассказывала об этом с гордостью. Такие «нетипичные» для евреев черты внешности в нашей общине ценились: их обладатели могли скрыть свое происхождение. Это был дар маскировки, которым Бог наделял вроде бы случайно, хотя нам позволяли верить, будто у Него своя система подобных привилегий. Возможно, темные волосы были знаком низкой духовности — или наоборот, с какой стороны посмотреть. В семнадцать, впервые встретив будущего мужа, я только и думала, что о его золотых волосах и о том, как это скажется на наших потомках. Достаточно ли силен ген, отвечающий за этот цвет волос, чтобы мои дети тоже были блондинами, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности в мире, который рано или поздно обернется против них, как всегда?

Как я сейчас понимаю, восточноевропейские черты и светлые шевелюры моих сородичей идеально иллюстрировали тезис, давно доказанный генетиками: никто из нас не принадлежит к одному народу на сто процентов. Но в моей общине о таких научных работах никогда не слышали, а если и слышали, то сочли их ничего

не значащими. Мы верили: если живешь уединенно, твоя кровь априори чиста.

Но вот парадокс: само слово «чистый» родом не из нашего языка. Говоря «тухор», мы имеем в виду только духовное качество: «чистые помыслы», «очиститься от греха». В традиционных верованиях хасидов такая чистота гораздо весомее безупречной родословной. Одной капли еврейской крови всегда было достаточно, и Гитлер не первым опирался на эту мысль. А потому всякий, кто мог, скрывал свои корни и отрицал их принадлежность, инстинктивно пытаясь защитить себя; те же, кто не мог, выбрали утешением извращенную гордыню. Они придумали новое представление о чистоте. Выстроили генеалогические древа, охватывающие тысячелетия и демонстрирующие «истинное» происхождение. Выступали против евреев, которые не могли похвастаться тем же. Вслед за нацистами эти люди закрылись в коконе опасных и разрушительных представлений о собственной родовой идентичности. Не имея возможности стать частью чужого мира, они создали закрытый клуб и сами сделали его членами. «Мы тухор», — повторяли они, и, хотя речь шла, конечно, о душах, в этот раз имелась в виду и чистота крови.

Если я еврейка по крови, значит, еврейка и душой. И поэтому я хочу знать. Хочу понимать, как именно воплощена во мне эта принадлежность. Что именно я унаследовала? Как превратить представление об этом в нечто осязаемое? Впрочем, на самом деле надо копать глубже и спрашивать: «Как мне научиться выносить свое еврейство?»

Баби отвечает на мои вопросы довольно рассеянно. Ее внимание поглощено листьями кабачков, которые она изучает под флуоресцентной лампой. Так видно, есть ли

в них черви, а черви делают листья некошерными. Баби говорит: Бог населил Землю другими людьми только для того, чтобы те ненавидели и преследовали евреев. Это своего рода противоборствующая сила, без которой нас бы не было: точно так же Бог создал ночь и день, тьму и свет. Одно определяется другим. И еврейство существует в первую очередь благодаря попыткам его уничтожить.

Ее слова должны объяснить мне, как все устроено. Но я слышу, как она говорит: мир опасен и останется опасным, потому что иначе как доказать наше право на существование, — и не могу поверить этому. Она имеет в виду что-то другое — или просто повторяет слова раввина, как все в нашей общине. Разве думать, будто все зло на этой планете создано лишь ради наших страданий, не означает ужасно себя переоценивать? Разве подобное высокомерие не грех? Разве можно рассматривать чье-то страдание как святая святых и подчиняться ему, как оркестр подчиняется дирижеру, принося свободную волю на алтарь его идеи?

Хотя в нашей общине запрещены любые контакты с гоями*, кроме исключительных ситуаций, в которых это строго регламентировано, я знаю, что Баби приходилось иметь дело с неевреями до того, как она присоединилась к сатмарским хасидам. Она рассказывала о маленькой деревушке, где прадед с прабабкой держали магазин, о соседях, заходивших во двор набрать из стоявшей там колонки сельтерской воды в обмен на небольшие подарки, о том, как товары из магазина тоже меняли — на яйца, молоко и мясо. Однажды ее отправили жить в город, к богатой бабушке, но Баби оказалась слишком взрослой,

* Гой — нееврей.

чтобы спать в комнате с остальными десятью детьми. Из тех времен у нее остались воспоминания об элегантных дамах в изысканных французских шляпках и меховых боа, — этих дам приглашали на чай, пирожные и партию в карты. Баби и ее бабушка ездили в маленькие европейские городки на минеральных водах, останавливались в курортных отелях и общались с постояльцами со всего континента. Но все это случилось до войны. Выйдя замуж за моего дедушку и вступив с ним в новую общину рабби Йозеля Тейтельбаума, она должна была отныне общаться только с теми, кто похож на нас.

Но потом я вспоминаю эпизод с уборщицей, которую бабушка подобрала на улице Вильямсбурга незадолго до того, когда мы оказались участницами ритуала, общего для всех домохозяек района. Каждое утро на пересечении Марси-авеню и Дивижн-авеню, в месте, где улицы образуют мост над магистралью, собираются на «черную ярмарку вакансий» нелегальные иммигрантки из Польши, а иногда — еще из Литвы, Словакии и Украины. Унизительные переговоры о работе ведутся под звуки клаксонов и шум шин по разбитому асфальту дороги. Вдоль ряда женщин проходит еврейка-хасидка, внимательно изучая каждую, будто оценивая физическое состояние, а потом указывает кривым пальцем на ту, что кажется ей достойной, призывая сделать шаг вперед. Оглашаются условия сделки. Как правило, цена низкая: пять долларов в час. Если нанимаемая в тот день уверена в себе, группа конкуренток невелика, час еще ранний и можно положиться на удачу, торг начинается с восьми долларов, а сговорятся, скорее всего, на шести. Потом обе уходят: уборщица следует за домохозяйкой,

демонстрируя должное подобострастие и сопровождая до дома. Там ей предстоит взять на себя самую неприятную работу, чтобы избавить хозяйку от унижительных обязанностей.

Я не могу не заметить, как этот театральный отбор, будто кривое зеркало, отражает отдельные моменты нашей коллективной памяти. И воспринимаю происходящее как унаследованное бессознательное желание отомстить, находящее выход в сценах на фоне колючей проволоки, которой огорожено шоссе. Вместе с каждой нееврейкой, делающей шаг вперед из линии иммигрантов, мы проживаем в некоем извращенном виде историю основателей нашей общины: выживших, избранных гоями, получивших возможность жить дальше. Слабое, но все же ощутимое удовлетворение. И, несмотря на это, моя бабушка ни разу до того дня не участвовала в подобном спектакле.

Мы оказались в месте действия случайно, когда возвращались домой с бабушкиными покупками. Неожиданно Баби остановилась как вкопанная, не сводя глаз с одной из женщин. Она стояла позади шумной группы иммигранток, толкавшихся и привлекавших внимание еврейских домохозяек. Ее тусклые каштановые волосы уже посеребрила седина, взгляд опущен в пол. Скрестив перед собой руки, она прислонилась к забору и ожидала, пока ее выберут, слишком гордая, чтобы об этом просить. Бабушка замерла, будто задумавшись. Я опустила на землю свои пакеты и с интересом наблюдала за происходящим. Наконец Баби указала пальцем на женщину.

— Ты! — произнесла она.

Женщина подняла взгляд.

— *Magyar vagy**, — сказала Баби, и в ее устах это прозвучало не вопросом, а утверждением.

На лице женщины отразилось удивление; она кивнула и сделала шаг вперед. На нас обрушился поток венгерских слов, которые будто часами что-то сдерживало — и только сейчас наконец их разрешили выпустить. Схватив Баби за рукав, она изогнулась всем телом, отрываясь от остальных, согнулась перед бабушкой в подобострастном поклоне, будто умоляя нас избавить ее от ужаса ожидания, стыда остаться единственной неугодной, страха перед возвращением домой без надежды на заработок.

Я не знаю, как бабушка вычислила в ней венгерку. На том углу иммигранты из Венгрии встречались редко, и именно их отсутствием Баби обосновывала нежелание нанимать уборщицу. Польского она не знала и потому не хотела доверять полякам свой дом — вместо этого сама выполняла всю черную работу, ползая по полу на коленях с тряпкой, щеткой и ведром воды. Но сегодня мы встретили венгерку, причем из той же области, что и Баби, да еще и ненамного ее моложе. Узнала ли она в этой женщине знакомую из прошлой жизни? Или увидела воплощение всех соседей из деревни ее детства, давних друзей из той эпохи, когда обстановка еще не накалилась и старые знакомые не приняли, забыв о былой верности, с радостью в дар дома и жизни, отнятые у других. «Все гои такие, — говорила бабушка. — Вечно ждут, как бы нажиться на твоём поражении. Такими их создал Бог. Против своей натуры они бессильны».

Но я все равно не могла понять, жалость или жажда мести заставила Баби привести к нам эту уборщицу.

* Ты из Венгрии (венгр.).

Казалось, существует некая связь между ней и женщиной, которая идет рядом, продолжая говорить на загадочном языке (я лишь иногда слышала, как на нем говорят бабушка с дедушкой) и буквально излучая радость быть избранной человеком, способным ее понять. Ощущала ли Баби родство с незнакомой землячкой, пускай даже та и не была еврейкой? Или она скорее чувствовала потребность продемонстрировать этой женщине, как переменялись обстоятельства, показать ей все, чего смогла достичь в Америке: четырехэтажный «браунстоун»*, канделябры, ковры, кружевные занавески до самого пола? Заставить ее увидеть, на чьей стороне оказалась настоящая победа?

Я наблюдала за тем, как Баби привела ту женщину в кухню, дала ей множество разнообразных приспособлений для уборки и продиктовала список задач, которые обычно выполняла сама или передавала мне: обычная ежедневная рутина, состоящая из глажки, уборки и наведения блеска. Удивительно, но мыть полы она не попросила. Мне казалось, это было бы логично: нееврейка, оттуда же родом, что и бабушка, вынуждена будет ползать на коленях по ее большому и комфортному дому. Не то чтобы мне хотелось увидеть унижение этой конкретной женщины, но для бабушки, думала я, это будет символический конец. С моей точки зрения, нечто подобное смягчило бы горечь старого, въевшегося в память предательства, о котором она лишь мельком упоминала в моем присутствии, но которое, как я знала, все еще обжигало ее в глубине души.

Спустя несколько часов работы по дому, иногда утомительной, иногда — простой, бабушка позвала нашу

* Браунстоун (от англ. brownstone) — таунхаус, облицованный материалом из красно-коричневого камня.

уборщицу на обед. К моему удивлению, она усадила ее за стол и села напротив, как равная. И даже подала еду на настоящих фарфоровых тарелках. Я гадала: не было ли это все частью хитрого и сложного плана, призванного утвердить в чужих глазах благородство Баби. На обед она разморозила голубцы — это традиционное для ее родины блюдо стало основным и для нашей общины. Я наблюдала, как приглашенная бабушкой женщина занимает место за столом и охотно принимается за еду, увлеченно рассказывая что-то на венгерском. Мне удавалось разобрать отдельные фразы: речь шла о разных рецептах и о том, как готовила голубцы ее мать. Еще она без конца хвалила бабушкины кулинарные способности, пытаясь таким образом снискать ее расположение. Я чувствовала это, ведь у нее была та же цель, что и у других уборщиц: найти постоянную работу и не возвращаться каждое утро на угол в надежде быть выбранными снова и снова. Регулярное жалование — это безопасность, возможное повышение ставки, а если работать хорошо — шанс получить рекомендацию в другую семью. Долгие недели ожидания у забора, напротив, сигнализировали: такая работница — не самый лучший выбор. Тогда почасовая ставка опускалась все ниже, пока предложения не переставали поступать вовсе. Все уборщицы боялись этой участи, и страх читался в глазах тех, кто еще оставался на углу ближе к полудню, когда толпа редела, а мимо зловеще проплывали полицейские машины. Я подозревала в поведении нашей помощницы эти скрытые мотивы — и злилась.

Пока она щебетала, бабушка в основном помалкивала; подперев рукой голову, она водила пальцем по узорам на скатерти, иногда кивая или роняя «да» или «понятно» на венгерском. Когда уборщица закончила есть,

Баби забрала ее тарелку и вымыла в раковине. Потом приготовила кофе, подала его на стол в щербатой белой кружке. И положила на скатерть двадцатидолларовую банкноту.

— Больше работы на сегодня не будет, — твердо сказала бабушка. — Мы закончили.

Уборщица мгновенно пала духом. Перевела взгляд на купюру. Три часа работы и чаевые.

— Приходить на следующей неделе, да? — Ее сомкнутые на чашке кофе руки дрожали.

Бабушка не произнесла ни слова, только отрицательно покачала головой. Потом, ощутив, видимо, прилив жалости к незнакомке, произнесла:

— Не вини себя. Я никогда не нанимаю помощниц. Предпочитаю сама работать по дому.

Та женщина так старалась заставить Баби передумать. Она готова была тут же опуститься на колени и вымыть полы, чтобы показать, какая от нее может быть польза. Хватала бабушку за руки и целовала их. Ее бывлая легкость общения казалась теперь откровенно фальшивой в сравнении с этим отчаянием, и я чувствовала, что бабушке за нее стыдно.

Баби сказала, что сожалеет, но никакой работы дать ей не сможет: все ее дети выросли, теперь осталось не так уж и много хлопот. Но если уборщица оставит свой номер телефона, можно передать его дочерям — на случай, если им понадобится помощь. Обещать бабушка ничего не могла.

И все же это был шанс. Та женщина аккуратно написала телефон карандашом на бумажке, которую ей дала бабушка. «Я очень дешево беру, — заверила она. — Пять долларов за час».

Я аккуратно закрыла за венгеркой дверь, а она все продолжала выкрикивать слова прощания, каждый раз будто спотыкаясь о них и с тоской глядя на Баби, человека, говорившего на ее языке, помнившего их общую родину, человека, который выручил бы в трудную минуту, если бы не ошибки предыдущего поколения, не сумевшего проявить солидарность в час нужды. После ее ухода бабушка еще какое-то время сидела за кухонным столом, потягивая кофе. В уголках ее губ пряталась улыбка. Мне так хотелось узнать, о чем Баби думала, но спросить я, конечно же, не могла.

Пока она сидела на своей маленькой табуретке, я складывала у мойки полотенца для посуды и гадала, кто в подобных случаях лучше выглядит со стороны: бабушка, которая была добра к гойке, но избавила ее и от сопутствующих унижений, и от работы, или соседские женщины, надзиравшие за тем, как другие драят их туалеты и лестницы, и находившие извращенное удовольствие в том, как история перетасовала карты. В детстве я была уверена, что это лишь вопрос эффективности, и полагала, что бабушка таким образом тонко воплощала в жизнь свое представление о справедливости.

Теперь я совершенно иначе смотрю на эту историю — и могу разглядеть терзавший бабушку конфликт между стремлением к милосердию и пугающими, но такими человеческими порывами, которые она старалась подавить. Невозможно назвать ее поступки делом мести или попыткой проявить сострадание — это было бы слишком просто. Поразительно, насколько сложным и многогранным был ее характер, сколько чувств раздирало ее изнутри. Многие не способны были этого заметить — она отлично научилась притворяться мягкой и спокойной.

Однако ребенком я не раз становилась свидетельницей ее тихих трагедий. Взять хотя бы ежегодные встречи с Эдит. В тяжелые военные годы они обе выжили в рабских условиях трудовых лагерей, но Эдит выбрала светскую жизнь с мужем-гоем, переехала в Чикаго и навещалась в Нью-Йорк только ради этой тайной, почти шпионской встречи с моей бабушкой в холле одного и того же отеля. Или битву за право держать единственный в Вильямсбурге сад, ради которого Баби настойчиво убеждала дедушку: именно этот клочок земли обеспечивает нас цветами для обильного украшения дома, как того требовали традиции пятидесятницы, а значит, забота о нем — не отвлечение от духовного труда, а его акт сам по себе! Все ее сражения и секреты я впитывала, как другие дети, взрослея, впитывали сказки. Раз за разом я прокручивала эти истории в голове и после того, как выросла, надеясь найти зацепки и понять, что происходило в душе женщины, которую я бессознательно сделала своей ролевой моделью.

Мои учителя говорили, что быть евреем — значит иметь внутри целом Элохим, искру Божью. А Баби настаивала на том, что особенными нас делало присутствие других людей. По ее словам, выходило, что мы перестанем быть евреями в ту самую минуту, как остальные перестанут ненавидеть нас за это.

Это все касалось не только того, как быть евреем внутри нашей общины, но и того, каким именно евреем быть. Вариантов существовало множество; даже тот, кто принадлежал к ашкеназам, все равно входил в маленькие самостоятельные группы — галицких и литовских евреев или йеке, евреев немецкого происхождения, — и между ними лежала пропасть. А ведь кроме ашкеназов были еще

сефарды (евреи португальского происхождения), мизрахим (выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки), бухарские евреи, йеменские, персидские... В каждом из них еврейской крови было больше, чем в любом из нас, но смешиваться с ними все равно было запрещено. В общине Вильямсбурга проживало несколько семей беженцев из Казахстана, Йемена, Аргентины и Ирана. Но даже те, чьи предки все еще жили в Европе пару поколений назад, уже не были нам подобны: целых два поколения они оставались далеки от традиций! Не существовало способа наверстать упущенное за это время, потому что, пока сменялись поколения, изменилось и само понимание еврейства. Война усугубила наши различия. Теперь каждая секта принимала только тех, кто мог продемонстрировать чистую родословную, выживших, способных отследить родство с жителями конкретного города или региона. Только так они определяли, где чье место. Вступать в брак можно было только с кем-то из своего племени, чтобы генеалогическое древо детей не вызывало вопросов. Благодаря этому *штетл* оставался жить в их крови. И Бобов, Вижниц, Клаузенбург, Санз, Пуна и Гур по-прежнему существуют, ведь потомки тех, кто жил там, не забыли, откуда они родом. Они воссоздали свой генофонд в обособленных районах Бруклина, границы между которыми оставались невидимыми, но прочно впечатались в наше коллективное сознание, позволяя ориентироваться во времени и пространстве.

Все мы принадлежали к роду евреев из Сатмара, *штетла* поблизости от мест, где жили в детстве мои бабушка и дедушка (поэтому они тоже относились к сатмарцам). Теперь выходцы оттуда заиклились на «своих»: дядья женились на племянницах, кузены — на кузинах.

Наш генофонд из небольшого превратился в крохотный, тиски сжимались. Ближайшие соседи, супруги Халберстам, были сыном и дочерью двух братьев; когда у них один за другим начали рождаться дети с муковисцидозом — семеро из девяти, — на это, кажется, обратили внимание власти. Нужно было что-то менять.

Так появилась программа проверки. Когда мне исполнилось пятнадцать, в класс пришли врачи в белых лабораторных халатах. Они разложили по нашим потертым партам содержимое коробок с оборудованием, а мы выстроились в ряд, чтобы сдать кровь. Закатывая по очереди рукава, мы закусывали губу, когда иголка протыкала кожу, и старались не показывать слабость перед одноклассниками. Уже в следующем году нас начнут сватать, но, прежде чем родители получают разрешение на это, доктора составят наш генетический профиль. Они назвали эту программу *«Дор Ешорим»* — *«Праведное поколение»*. Если мы хотели сохранить традицию близкородственных браков и остаться навсегда изолированными от остальных, нужно было убедиться, что никто не передаст по наследству никаких изъянов. Прежде чем будущие супруги встретятся, врачи сравнят их геном, проверят, нет ли у них общих мутаций — иными словами, убедятся, что мужчина и женщина, готовые вступить в брак, похожи, но не слишком. Однако никто не рассказывал бы, что именно удалось обнаружить в нашей крови. Все данные были заперты в хранилище и хорошо защищены. Каждый получал только номер, под ним и проводился анализ. Простое сравнение данных по двум номерам — и короткое «да» или «нет».

Спустя два года после сдачи анализа я позвоню в хранилище и назову свой номер и номер моего будущего

мужа. И буду, затаив дыхание, ждать ответа. Во мне все еще силен старый страх: вдруг они найдут в моей крови что-то лишнее, какое-то объяснение тому, что я такая, какая есть?

— Мазел тов*! — сказали мне тогда. — У вас родится много здоровых детей.

Остальное не имело значения. Даже если в моей крови и было нечто странное, никто не проронил об этом ни слова.



В идише есть слово, которое я в детстве слышала постоянно и которое наполняло меня беспокойством: *йичус***. Для меня оно очень много значило: *йичус*, с одной стороны, был важен для определения вашего места в общей иерархии и присвоения соответствующего статуса, а с другой — пугал меня, напоминая: моя связь с этой самой иерархией очень слаба, а потому я обречена вечно бороться, чтобы не упасть на дно общества ненужным осадком.

Слово *йичус* восходит к безобидному и частому в иврите слову «отношения», но в идише им стали обозначать благородное происхождение и описывать с его помощью ценность человека — на основании того, кем были его предки. В нашей коммуне семьи с *йичусом* имели завидное положение в обществе. Эти люди были сатмарскими аристократами, чистую родословную почитали величайшим сокровищем и всегда предъявляли свахам

* Доброй удачи (*искаж. иврит*).

** Родословная, происхождение (*идиш*).

как доказательство того, что их сыновья и дочери достойны только предложений от равных. Меня же, от кого я ни происходи, компрометировал скандальный разрыв моих родителей; он поверг всю нашу семью в хаос и казался несмываемым пятном на узоре, который вся община старательно выплетала из прочных браков и непрерывных линий наследования.

Я училась в девятом классе религиозной школы для девочек, мне было 14 лет. В конце года мы должны были составить и продемонстрировать свое семейное древо. Об этом объявили на первой учебной неделе, и во мне тут же поднялась волна паники. В тот день я мчалась домой, с трудом сдерживая слезы, пока не оказалась на бабушкиной кухне. Дамоклов меч был занесен. Я знала, что меня ждет очередное унижение: пока одноклассницы будут демонстрировать огромные, последовательные и полные жизни родословные, я вынужденно раскрою все изъяны своей семьи.

Баби бросила на меня взгляд и немедленно отложила горсть рубленого мяса, из которого формировала фашинг, котлету. Потом вымыла руки и выудила из тайника на кухонном шкафу бумажный пакет. В нем, как раз для таких случаев, хранился запас покрытых шоколадом цукатов из апельсиновой кожуры. Не говоря ни слова, бабушка дала мне дольку, взяла себе вторую, откусила от нее и принялась задумчиво пережевывать, пока я ждала в твердой уверенности, что сейчас услышу решение своей проблемы.

— Справедливости ради, немного йичуса есть у всех, — сказала Баби. — Если достаточно внимательно всмотреться в генеалогическое древо любого из нас, там непременно окажется какой-нибудь неизвестный рабби или

не слишком популярный святой. Уверена, копни мы достаточно глубоко — и в твоём роду найдется достаточно рабби, чтобы даже Ханна Рокеш почувствовала себя неудачницей.

Это, конечно, была просто шутка, призванная улучшить мое настроение. Обе мы прекрасно знали, что Ханна — недостижимый идеал. По всем законам логики на ее популярность должна была не лучшим образом влиять слишком низкая линия роста волос, но на деле родство с раввинами было куда важнее.

Баби восприняла мой ужас спокойно: полностью мне сочувствуя, она не ощущала того же страха оказаться непринятой. Ей и не нужно было это принятие: ее мир существовал только в стенах нашего дома. Пока позволяли возиться на кухне и в саду, бабушка и не желала большего. Мне же каждый день приходилось сражаться за право быть достойной, и тогда я была еще достаточно юна и наивна, чтобы думать, будто это принесет моей душе желанный мир.

— Я напишу твоему дяде, тому, который помогал устроить свадьбу твоих родителей, — решила Баби, продолжая пережевывать цукат. — Он поможет тебе восстановить родословную с материнской стороны.

В тот момент мне хотелось обнять ее, но я, конечно же, не решилась. Я никогда не обнимала ее — и никогда не посмела бы. В моем мире так не делали. Пойди я против неписаных правил и заключи ее в объятия, она, скорее всего, почувствовала бы беспокойство, даже страх. Мы жили в убеждении: открыто выражать привязанности опасно. Если ты демонстрируешь, как человек тебе дорог, не знак ли это для вселенной, что его нужно отобрать у тебя, когда придет время расплаты?